

Зависть

Медленно угасает день. Небо уже не такое голубое, не такое глубокое: оно линяет, плотнеет, опускается ближе к земле. Но рождаются новые краски. Солнце, еще недавно слепяще белое, начинает расти, наливаясь красной силой. И красными, теплыми становятся кромки облаков, подкрашена розовым вода. Теперь уже скоро, вот-вот из дальних просторов, из вечернего красного света появятся утки. Они налетят внезапно, в свисте косых крыльев, стремительные.

Сегодня открытие охотничьего сезона. Я буду стрелять с крошечного прибрежного островка. Островок почти голый, но на одном его крутом склоне растет несколько разлапистых сосенок, среди них можно укрыться от зорких глаз уток-старок.

Тяжелеет, скатываясь за туманные леса, солнце. Вот-вот прилетят утки. Ружье давно заряжено. Пальцы на курках. Бегут мурашки в застывших от напряжения ногах.

Полетели утки. Полетели. Во-он, далеко, над тихим морем, летят они. Летят низко, почти около воды. Но летят не ко мне. Напрасно я прячусь среди сосенок — не ко мне.

И снова тягучее напряженное ожидание.

В стороне глухо, раз за разом, бухнула крупнокалиберная двустволка. И сердце облилось завистью к счастливцу. Ведь вот же какое неудачное место я выбрал. Ведь собирался же сесть на лесистой косе — как раз в том месте, где бухнула двустволка. Ну, невезучий же... Да разве...

Свистят над головой крылья. Кручу головой. Где? Да где же?! Табунок уток. Вот он. И далеко уже. Но спохватываюсь и, хотя отчетливо и холодно понимаю, что утки за выстрелом, палю вдогонку. В белый свет. Как в копеечку. И замирает сердце: а вдруг споткнется утка и, перевертываясь, шлепнется о воду. И, не удержавшись, стреляю еще.

Проходит напряжение. Снова вижу море, лес, солнце. Можно закурить. Вспоминаю давешнюю бухающую двустволку, у соседа сейчас тихо — пусть теперь он мне позавидует.

Слышу далекий голос Валентина.

— Есть — нет?

И Валентин заволновался. Я кричу что-то вроде «о-э», рассчитывая на то, что Валентин не поймет, а кричать снова не решится; могут налететь утки.

Но он, тоскуя, кричит:

— Есть?

— О-э, — глухо кричу я.

И снова тишина. Долгая томительная тишина. Какая же все-таки черная штука — зависть. И никак люди не могут избавиться от нее. И Валентин... Ведь интеллигент, педагог. Мой друг. А вот зависть. Учить вас надо. И уже специально для Валентина и того, соседа на лесистой косе, стреляю из обоих стволов, раз за разом.

Умироотворенно я жду завистливых криков Валентина, но он молчит. То-то, думаю, так вас. И вдруг выстрел. Один. И через несколько долгих секунд другой. Как пить дать Валька утку срезал. А второй выстрел — подранка добивал. Я знаю. Первый выстрел в лет, а второй — по подранку на воде.

— Есть? — напрягая горло, кричу я.

Но Валентин молчит. Определенно, он утку сейчас из воды тащит. Потому и молчит.

Мне хочется сбежать к Валентину, посмотреть на его добычу, но с этого чертова островка не убежишь: до берега не так уж далеко, но проливчик глубокий, и вода холодная, осенняя. А лодка у Вальки.

— Есть? — кричу я снова.

Валентин что-то отвечает, но я не могу разобрать его слов.

— Что-о? — деревянеет шея от крика, и аж эхо гудит в хребтах. И опять не понять ответа.

Нет, чтоб по-человечески ответить, посадил меня на этот проклятый остров, а сам уток бьет.

Подожди, думаю я мстительно. Теперь ты покричи, а я послушаю. Поднимаю стволы в небо и рву курки. Ах! Ахх! — отозвались вода и лес. Вот так-то. И уже

стреляя, нет, еще до выстрела, но когда его уже не предотвратить, вижу, как на меня низко, совсем уже рядом, в двух десятках метров, летят утки. Красавицы утки свечой взмывают вверх, а я шарю на поясе и рву патроны из тугих гнезд патронташа.

Нет чтоб по-человечески ответить, — думаю я о Валентине и снова накаляюсь. Если бы он ответил как надо, да разве бы я стал палить в воздух? И уток упустил. А ведь мог бы сбить. Из правого ствола первую, когда она мимо протягивает, а из левого — вторую, вдогонку. Определенно мог бы.

А в награду не было даже криков Валентина. Он молчал.

Я раздумывал, не пальнуть ли мне еще, но услышал выстрел Валентина. И еще один. Может быть, он и продолжал стрелять, но я уже не слышал: ко мне, как во сне, как в замедленном кино, плыла по синему воздуху утиная стая. И еще раньше, чем поднять ружье, уже знал, что собью утку. Собью непременно. И кажется: я медленно поднимаю ружье, медленно взвожу курок. Но и утки пролетели за это время совсем малое расстояние. И четко вижу ту утку, которую собью. Не слышу ружейной отдачи и лишь знаю, что утка сейчас упадет. И она, налетев на невидимую преграду, перевернувшись в воздухе, тяжело шлепается о тугую воду.

Замедленное кино кончается: птицы круто берут к морю, и тотчас становятся за выстрелом. Но я не жалею: моя утка, сбитая в лет, в лет, а не как-нибудь, лежит на воде. Она чуть покачивается на мелкой волне, и ветерок медленно гонит ее к моему острову. А пронесет мимо — тоже не беда: кончится зорька, и Валентин пригонит лодку. И теперь, если Валентин крикнет, я знаю, что ему отвечать. И отвечу с удовольствием.

И уже уверенно ожидаю новые стаи уток. И сам себе говорю, что волноваться и спешить не буду: подпущу утку на выстрел, вернее, пропущу над собой и потом прицельно — вдогонку.

Но внезапно появляются новые заботы: моя утка ожила. Она подняла голову, осматривается. И намерена плыть явно не в мою сторону.

Нет уж, не выйдет. По неподвижной-то цели я не промахнусь. Поднимаю ружье и стреляю. Дробь хлещет по воде, где мгновение назад качалась утка. Но ее самой на том месте нет. Она исчезла, она нырнула за какие-то доли секунды до того, как по воде хлестнул дробовой снап. Через несколько долгих секунд она показывается из воды целая, невредимая.

Торопливо стреляю из второго ствола. И опять дробь рябит воду, а утка на мгновение исчезает. Это уже черт-те что значит. Торопливо вгоняю в стволы новые патроны. Ведь еще мгновение, и моя утка уплывет, и поминай как ее звали. Прыгает, качается мушка ружья, рвут воздух выстрелы, вскипает вода под дробовой осью. Колотит в горло и ребра сердце, сохнет во рту. И стреляю, стреляю.

Шарит рука на поясе и замирает внезапно: последний патрон. И возвращается рассудок. Последний патрон. Есть патроны, но они на таборе. Кто же знал, что мне придется сегодня так много стрелять!

А утка невредима. Хотя нет, постой. Видно, какая-то шальная дробина задела ее и, когда я спускаю курок у пустого ствола, она пытается нырять, но не может нырнуть.

Последний выстрел, и утка, подгоняемая ветерком, чуть заметно плывет к моему острову.

Все. Мне теперь не надо замирать в нервическом ожидании и высматривать в тускнеющей дали утиные косяки. Стрелять все равно нечем. Я выберусь из укрытия, сяду на выброшенный морем сосновый обрубок, буду курить и спокойно, умиротворенно смотреть на вечернее море, на пролетающих уток.

Я закуриваю, гляжу, как плывет и тает в чистом воздухе табачный дым и думаю, что мне хорошо и спокойно. И что я сделал свое дело: расстрелял патронаш, добыл утку, и вот теперь тихо и благостно смотрю на притихшее перед ночью море, на темнеющие облака, на размытый горизонт. Усмехаясь, вспоминаю давешние свои и Валентиновы крики и немного жалею о пустой от зависти стрельбе. Сегодня вечером мы посмеемся у костра.

Но нет еще в мире спокойствия. Свистят крылья, появляется утиный табунок, и летит к черту вся благостность. Хватаю ружье, но тотчас вспоминаю, что оно пустое, и хочется его сломать, разнести в щепы, смять через колено стволы.

А утки летят близко, крупные кряковые утки. Это самые лучшие, самые крупные утки из тех, что я видел за сегодняшний вечер. И табунки летят часто.

Но на этом пытка не кончилась. Просвистел крыльями и безбоязненно шлепнулся в воду, неподалеку от моего острова, одинокий селезень-гоголь. Гоголь, видимо, славно провел сегодня день. Сытый и довольный, он плескался на мелководе, поправлял перья, потягивался крыльями.

Шарю по карманам, ищу хоть один завалившийся патрон, но не нахожу.

Бухают ружья Валентина и того незнакомца на лесистой косе. Вздрагивает и обрывается мое сердце.

Оглушенный несправедливостью, смятый, сижу на острове и смотрю, как из розовой прорвы заката валом идут утки.

Ель

Настасье уж какой день неможется. Сегодня прибежала фельдшерица Валя, градусник ставила, расспрашивала, что где болит. Дала горьких порошков. «Пейте — говорит, — тетка Настасья. А я к вам еще загляну».

А потом заходил Петрован.

Петрован с бригадой напротив Настасьиного дома новый сруб зувскому зятю ставит.

— Дай, тетка, стаканчик. Вишь ты, какое дело, матку положили. А без этого нельзя, порядок такой.

Щелкнул гулко по бурой шее.

— Сам возьми. Во-о-н там в кути, — кивнула она на ситцевую занавеску.

Уже в дверях плотник участливо спросил:

— Приболела, штоль? Вид у тебя плохой...

— Хвораю.

— Продуло, видно...

— Может, и продуло... Вроде ничего не болит, а худо...

Он сочувственно вздыхает, глядит мимо хозяйки. В тяжёлых рамках оконных косяков видны высвеченная солнцем ель, веселый черемушник. Ель особенно славная: сытая, холеная. Новогодняя. Под мохнатыми раскрылками ели лесной покой.

Петрован потоптался у порога, сказал значительно:

— Ель, видно, это.

Скучно в доме.

Настасья оделась потеплей, выбралась за ворота на лавочку.

Добрая изба у зувского зятя будет. Рубят ее из бревен смолевых, желтых, сол-

нечных. Машет Петрован блестящим топором. Гонит по бревну широкоую, как лопоть масла, стружку.

И у нее, Настасьи, хороший дом. Ставили его еще до войны, после той зимы, когда Алексей на удивление всей деревни с охоты пришел с большим фартом.

Тогда же и привезли в палисадник черемуховые кусты и ель. Нет ни у кого такой ели.

Изда Настасьи крайняя в улице. Прямо за двором начинаются заросли колючей боярки, шиповника. Дальше — крутой угор к реке. Ее дальний размытый берег видно отсюда, с лавочки.

А за Леной — темень тайги.

Сидит Настасья, слушает, как река играет, как вяжется к ели ветер, как стучат топорами Петровановы парни. Слушает свою болезнь.

— Ну как, тетка, не лучше?

— Это ты, Валя? Чего уж там...

— А дядя Алексей-то ваш где?

— Известно где... Сухари в зимовьюшку повез. До снега, говорит, надо. Да корья для крыши надрать... Видно, прохудилась.

— Что прохудилось?

— Да крыша, говорю...

Валя роется в большой, как у городских модниц, сумке, выставляет на стол пузырьки, пакетики.

— Я тут еще лекарств принесла. Помогут эти обязательно.

— Ну их к ляду... Вот чернички попою да брусничного листа... Пройде-е-ет.

Большой трехцветный кот тяжело спрыгнул с печи, потерялся о Валины ноги.

— Ах ты, пьяница... Это он валерьянку, тетка, учуял...

— Любит, зараза.

Дверь скрипнула, кот недовольно метнулся на печь, вошел Петрован.

— Я опять за вчерашним, за стаканчиком.

— Вижу я. Там же возьми.

Петрован держит заскорузлыми твердыми пальцами прозрачный стакан, покашливает, лезет за папиросами.

Когда Валя ушла, плотник присел на скрипучий табурет.

— Чего фельдшерица говорит?

— Порошки вот оставила...

Обычно развеселое лицо Петрована строго.

— Я вот что скажу... Ель это сосет тебя...

— Да уж и не знаю.

— У дома ель нельзя держать. Примета такая. Верно. Срубить ее надо. И полегчает.

— Слышала я, да не верится.

— Ну, так я срублю. Первое дело.

Молчит Настасья.

Высоко подняв щетинистый подбородок, Петрован ходит вокруг ели.

— Хороша лесина. Хоть на лодку, хоть...

И, вынув из-за опояски топор, стал обламывать нижние ветки.

Отступил на шаг, махнул топором, крикнул весело:

— А ну, нар-р-род, разойдись.

Сгрудившиеся у палисадника ребяташки прыснули к заплотам.

— Хак!.. Хак!.. — вторя топору, резко выдыхал плотник.

Острая вершина вздрагивала, потом качнулась, чиркнула по белым облакам, и ель плашмя рухнула в пыль дороги.

— Во топор, — восхитился Петрован. — А я его уж сколь не точил.

«Ох ты, как тихо, — мается Настасья от окна к окну. — Пустыня чисто».

А прошлой ночью несколько раз вставала с деревянной кровати, шарила по стене выключатель. Пила воду. Будто потеряла что.

Вышла на улицу. Который раз. Постояла. Шепчет:

— Дом-то как голый. Пустыня чисто.

Петрован со сруба кричит:

— Ну как, тетка, лучше?

Махнула рукой. Не ответила. Иди к лешему.

Выкатила из-под амбара тележку, взяла лопату с подгорелым чернем и не спеша пошла в сторону Теплового ключа, где растёт ельник.

Дорогой она часто останавливается, отдыхает.

Поправляет выбившиеся из-под цветастого платка волосы, смотрит на свой дом. Дом ей кажется больным, старым, обиженным.

— Ничего, — шепчет. — Еще лучше посадим елку. На Теплом их пропасть...

В лесу Настасья долго ходит по жухлой траве, трогает колючие лапы елочек и никак не находит такой же, как увезли они с Алексеем в те далекие годы.

Еле приплелась домой. Тележку в лесу оставила. Думает, завтра пойду, елку беспрерывно пригляжу... А сейчас полежать надо...

Вечером из конторы Валя-фельдшерица в соседнее село, в больницу звонит:

— Марья Андреевна... Да Валя это... — голос ее плачет. — Больной худо моей. Что? Ну, да! Приезжайте скорее.

А Настасья... Настасья снова в лесу. Ель выбирает. Вместе с Алексеем. Алексей в мягких ичигах, красной рубашке, молодой и улыбчивый. Настасья тоже молода. Но чудное дело: идет она, а трава под ее шагами не мнется.